



В.О. Ключевский

ЭПИЗОДЫ ИСТОРИИ МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

(Къ полутораѣковому юбилею: 1755–1905).
Оттиск выпуска газеты «Речь»
к несостоявшемуся юбилею 1905 года.
(РГАЛИ. Ф.1666, оп. 2. уд. хр. 2344)

Основанный полтора столетия тому назад, Московский университет до самого конца XVIII вѣка влачилъ довольно жалкое существованіе. По уставу 12 января 1755 года въ немъ полагалось всего только десять <sic!> кафедръ на всѣхъ трехъ факультетахъ: философскомъ, юридическомъ и медицинскомъ, да и эти кафедры въ теченіе перваго десятилѣтія не всѣ были замѣщены. До 1764 года на медицинскомъ и юридическомъ факультетахъ было всего только по одному профессору. Въ царствованіе императрицы Екатерины II число профессоровъ было увеличено, и нѣкоторыя кафедры были заняты питомцами Московскаго университета, докончившими свое образованіе за границей. Но русскихъ ученыхъ все-таки было недостаточно, и приходилось или назначать профессорами приказныхъ дѣльцовъ вроде Горюшкина, или выписывать иностранцевъ. Неудивительно, что иностранные ученые составляли половину преподавательскаго персонала въ Московскомъ университетѣ XVIII вѣка.

Матеріальное, социальное и нравственное положеніе московскихъ профессоровъ XVIII вѣка было очень незавидное. Профессорское жалованье на первыхъ порахъ не превышало 400–500 рублей, да и то иногда задерживалось по цѣлымъ мѣсяцамъ. Даже наканунѣ XIX вѣка очень немногіе профессора получали больше 600–700 руб. Получая такое незначительное содержаніе, профессора поневоле должны были изыскивать другіе источники матеріальнаго обезпеченія. Они открывали пансіоны, давали уроки въ богатыхъ домахъ, занимались медицинской практикой, читали публичныя лекціи и т. д. Эти лекціи особенно широко и выгодно были организованы у проф. Дильтея, который вскорѣ по прїѣздѣ въ Москву обзавелся собственнымъ домомъ. Самымъ же предприимчивымъ изъ московскихъ профессоровъ XVIII вѣка былъ Ростъ. Преподавая въ университетѣ математику и физику, Ростъ въ то же время состоялъ главнымъ аген-



томъ Голландской Компаніи и держаль на жалованьи «нѣсколько сотъ приказчиковъ, русскихъ людей, черезъ которыхъ онъ дѣйствовалъ по всей Россіи, закупалъ даже на корню всякій хлѣбъ, пеньку, конопляное и льняное сѣмя и масло, смолу, сало, сырья кожи, волосъ, пухъ, перо, воскъ и прочія произведенія». Такимъ путемъ Ростъ нажилъ значительное богатство: у него было болѣе тысячи душъ крѣпостныхъ и сотни тысячъ рублей деньгами¹. Но далеко не всѣ профессора имѣли посторонніе заработки сверхъ казеннаго содержанія. Отсюда рѣзкое различіе въ ихъ матеріальномъ положеніи: въ то время, какъ одни жили въ собственныхъ домахъ и разъѣзжали въ каретахъ, другіе ютились въ скверныхъ казенныхъ квартирахъ и не всегда могли нанять извозчика.

Общественное положеніе профессоровъ также было незавидное. Профессорское званіе не только въ XVIII вѣкѣ, но даже и въ началѣ XIX столѣтія считалось унижительнымъ для русскаго дворянства. Въ 1803 году Карамзинъ въ статьѣ «О вѣрномъ способѣ имѣть въ Россіи довольно учителей» писалъ, что «ученый дворянинъ есть нѣкоторая рѣдкость» и «что Россія можетъ единственно отъ нижнихъ классовъ гражданства ожидать ученыхъ». Да и само правительство цѣнило ученыхъ очень низко по сравненію съ военными и гражданскими чиновниками. Извѣстно, что даже гениальный Ломоносовъ, не смотря на свою разностороннюю ученую и общественную дѣятельность, не поднялся по табели о рангахъ выше статскаго совѣтника, да и этотъ чинъ онъ долженъ былъ униженно выпрашивать. Если такъ низко стояли на іерархической лѣстницѣ академики, то понятно, что профессора стояли еще ниже. До 1804 года никто изъ профессоровъ не имѣлъ чина выше коллежскаго совѣтника. Неудивительно поэтому, что въ XVIII вѣкѣ, и даже значительно позже, русскіе профессора выходили почти исключительно изъ духовнаго сословія. На такую скудно оплачиваемую и низко цѣнимую должность трудно было привлечь дворянина.

Далеко не всегда могъ московскій профессоръ XVIII вѣка отдаться, какъ слѣдуетъ, и исполненію своего долга. И тутъ ему мѣшали или неподготовленность слушателей, или недостатокъ учебныхъ пособій. Большинство иностранныхъ профессоровъ, и даже нѣкоторые изъ русскихъ, читали лекціи на латинскомъ языкѣ, но слушатели не всегда были въ состояніи понимать такое чтеніе и приходилось снабжать профессора-иностранца русскимъ переводчикомъ. Что касается учебныхъ пособій, то въ этомъ отношеніи очень характеренъ отчетъ попечителя М. Н. Муравьева 1803 годъ. По свидѣтельству этого документа, университетская бібліотека «съ давняго времени оставалась въ скудномъ состояніи», «астрономія преподавалась единственно въ теоріи», хирургическіе и анатомическіе инструменты «выписываны были въ 1766 году и съ тѣхъ поръ сдѣлались вовсе неупотребительными», химическаго ка-

¹ Біографическій словарь Московскаго Университета. М. 1855. Т. II, стр. 447.



бинета вовсе не было¹. Известно также, что московская полиция на первых порах по целым месяцам не доставляла трупов для анатомического театра.

Наконец, и свобода преподавания в XVIII веке была сильно ограничена. Ни один профессор не мог читать лекций по своему или чужому руководству без разрешения профессорской конференции. А председателем конференции и ближайшим начальником университета был назначенный правительством директор, иногда не больше как с гимназическим образованием. Кроме товарищей и светского начальства (одного и двух-трех кураторов), зорко следила за профессорами и духовная власть. Когда проф. Аничков в 1769 году напечатал рассуждение о происхождении естественного богопочитания, Московский архиепископ Амвросий, убитый во время чумы, представил Синоду «доношение», в котором называет диссертацию «соблазнительным и вредным сочинением». По мнению преосвященного Амвросия, профессор 1) «явно возстает противу всего христианства, богопроповедничества и богослужения; 2) опровергает св. писание и в нем богознамения и чудеса, также рай и адъ и диаволовъ, соравнивая их хитроковарным образом с натуральными или небывалыми вещами; а Моисея, Сампсона и Давида — с языческими богами; 3) во утверждение того атеистического мнения приводит безбожного Эпикурова последователя Люкреция да всекверного Петрония». К счастью для Аничкова, должность обер-прокурора в Синоде исправлял Чебышев, тот самый Чебышев, который, если верить Фонвизину, публично проповедывал атеизм. Синод нашел, что некоторые выражения Аничкова, действительно, неосторожны и могут показаться соблазнительными, а обер-прокурор не усмотрел в сочинении никаких «противностей православному закону» и предложил оставить дело без последствий².

Больше трагична была судьба привержаго философа Мельмана. По словам сенатора Лубяновскаго³, это был «безстрастный отшельник от мира, влюбленный по уши в безжалостную критику, дочь философа Канта». Увлечение философией Канта и погубило Мельмана. В 1795 году его представили противником христианской религии и развратителем юношества. Отданный под суд, Мельманъ не отказался от своих «заблуждений» и не отрекся от философии Канта, котораго онъ называлъ «повторителемъ и внушителемъ словъ Христа и писанія Христова». Тогда Мельмана признали «поврежденнымъ въ умъ» и неспособнымъ къ своему званію и выслали за границу, гдѣ онъ вскорѣ и умеръ. Особенно характерно, что въ обихъ этихъ печальныхъ исторіяхъ, кромѣ духовнаго

¹ Шевыревъ. «Исторія московскаго университета». М. 1855. Стр. 328–329.

² См. замѣтку С. Соловьева. «Диспутъ въ Московскомъ университетѣ 25 августа 1769 года» («Русскій Архивъ», 1875 г., № 11).

³ «Русскій Архивъ», 1872 г.



и світського начальства, оказались замьшанными и профессора. Противь мнѣній Аничкова протестовали профессора Барсовъ, Дильтей, Керштенсъ, Лангеръ, Ростъ и Рейхель, причемъ послѣдній обозвалъ Лукреція «inter philosophos proletarium, possum ex grege Erisuri». Въ исторіи же Мельмана, кромѣ митрополита Платона и куратора Хераскова, замьшаны профессора Чеботаревъ и Шадень.

Среди московскихъ профессоровъ XVIII вѣка мы почти не встрѣчаемъ людей съ громкими именами въ области науки. Ихъ ученые труды въ большинствѣ случаевъ ограничивались неизбѣжными диссертациями и актовыми рѣчами; даже учебныхъ руководствъ они составили очень мало. Почти всѣ профессора въ то время не составляли лекцій самостоятельно, а читали по какому-нибудь иностранному руководству, иногда очень устарѣвшему. Да и трудно было въ то время профессорамъ составлять свои собственные курсы. Одному лицу приходилось читать иногда чуть не за цѣлый факультетъ. Возможны были и такіе случаи, какъ чтеніе медикомъ Скіаданомъ лекцій по естественному и народному праву. Тутъ ужъ безъ чужого руководства не мыслимо было обойтись. Но если среди московскихъ профессоровъ XVIII вѣка не было выдающихся ученыхъ, зато были прекрасные преподаватели и хорошіе люди, которые своими лекціями и совѣтами благотворно вліяли на студентовъ и оставили въ нихъ свѣтлыя воспоминанія, хотя и не всегда чуждыя анекдотической окраски.

Изъ русскихъ профессоровъ, въ немногихъ дошедшихъ до насъ воспоминаній московскихъ студентовъ XVIII вѣка, чаще всего и въ наиболѣе симпатичномъ свѣтѣ являются словесники Барсовъ, Сохацкій и Чеботаревъ, философъ Аничковъ, медики Зыбелинъ и Политковский. О Барсовѣ, напимьрь, извѣстный сатирической писатель кн. Долгорукій говорить, что «такихъ людей во всякомъ царствѣ и вѣкѣ немного». Наиболѣе же восторженные воспоминанія изъ русскихъ профессоровъ оставилъ Страховъ, преподававшій физику въ концѣ XVIII и въ началѣ XIX вѣка и пользовавшійся громаднѣйшей популярностью не только въ университетѣ, но и среди московскаго общества. Обладая красивой внѣшностью, онъ славился и какъ профессоръ, и какъ ораторъ, и наконецъ, какъ устроитель любительскихъ спектаклей. На его публичныя лекціи собирались сливки московскаго общества, а студенты по окончаніи каждой лекціи торжественно провожали любимаго профессора до его квартиры.

Изъ профессоровъ-иностранцевъ наиболѣе свѣтлыя воспоминанія оставили Шадень и Шварцъ. Шадень, умершій въ 1797 году послѣ сорокалѣтняго служенія русскому просвѣщенію, по свидѣтельству Муравьева, былъ «препровожденъ въ гробъ съ благоговѣніемъ и плачемъ слушателей своихъ». А нѣкоторые изъ этихъ слушателей выразили свои чувства въ стихахъ и прозѣ.

«Кто хочетъ научиться добродѣтели, пусть придетъ на погребеніе того, кто любилъ ее. Онъ научится болѣе, нежели отъ всѣхъ проповѣдниковъ, болѣе, нежели изъ всѣхъ написанныхъ досель книгъ



о нравственности!» Так писал студент Цветаевъ (впоследствии профессор) в журналъ «Приятное и полезное препровождение времени». В томъ же журналъ были посвящены кончинъ Шадена стихотворение и статья братьевъ Запольскихъ В стихотворении говорится:

«Какъ риторъ, ты владѣль учащихся сердцами.
Какъ философъ — любить ты истину училъ,
И въ томъ примѣромъ самъ отличнѣйшимъ служилъ.
Ты былъ учености и мудрости ревнитель,
Ты въры былъ святой всю жизнь свою хранитель».

Въ прозаической статьѣ сообщается, что въ лицъ Шадена Россія имѣла своего Канта.

Профессорская дѣятельность Шварца продолжалась меньше пяти лѣтъ (1779–1784), но оставила глубокой слѣдъ въ исторіи московскаго университета и русскаго просвѣщенія. Съ именемъ этого благороднаго иностранца, искренно полюбившаго Россію, связаны просвѣтительная дѣятельность Новикова, основаніе педагогической и переводческой семинарій, собранія университетскихъ питомцевъ и «Дружескаго ученаго общества». Кромѣ университетскихъ лекцій Шварцъ читалъ еще приватныя лекціи по философіи, направленныя противъ французскаго раціонализма и оказывавшія сильное вліяніе на слушателей. «Главное и для тогдашняго времени поразительное явленіе было то, — говоритъ извѣстный мистикъ Лабзинъ — съ какою силою простое слово его исторгло изъ рукъ многихъ соблазнительныя и безбожныя книги, въ которыхъ, казалось, тогда весь умъ заключался, и помѣстило на мѣсто ихъ святую Библию».

Кромѣ Шадена и Шварца, хорошіе отзывы встрѣчаются объ историкъ Рейхель, физикъ Ростъ, филологъ Баузе, философъ Мельманъ и нѣкоторыхъ другихъ.

Были среди московскихъ профессоровъ и очень несимпатичныя личности, вроде математика Аршеневскаго и юриста Дильтея. Замѣчали наиболѣе развитые студенты и бѣдность, и недостаточность университетскаго преподаванія. Такъ, Лубяновскій жалуется, что университетъ, приготавливая его ко всему, порядочно не приготовилъ ни къ чему и особенно мало далъ свѣдѣній о Россіи. Но всѣ эти общіе и частныя недостатки не помѣшали московскимъ студентамъ сохранить объ университетѣ самыя свѣтлыя воспоминанія. Даже Фонвизинъ, сообщившій потомству очень неприглядные факты о дворянской университетской гимназіи, счелъ нужнымъ заявить: «какъ бы то ни было, я долженъ съ благодарностью вспоминать университетъ.» Съ особеннымъ восторгомъ, можно сказать, съ благоговѣніемъ, отзываясь о московскомъ университетѣ кн. Долгорукой въ предисловіи къ третьему изданію своихъ стихотвореній.

Бѣдный профессорами, московскій университетъ XVIII-го вѣка былъ бѣденъ и студентами. Даже казенныя стипендіи не скоро были замѣщены. Когда въ 1767 году 18 студентовъ были взяты въ комиссію уложенія, конференція заявила, что университетъ опустѣлъ. Были годы когда на юридическомъ и медицинскомъ факультетахъ было всего



по одному студенту. Въ 1787 году въ университетъ было только 82 студента. Едва ли даже въ самомъ концѣ XVIII вѣка московскій университетъ имѣлъ болѣе ста студентовъ, изъ коихъ половина пользовалась казенными стипендіями. Такое малолюдство объясняется прежде всего тѣмъ обстоятельствомъ, что наука и образованіе не пользовались тогда особенными симпатіями русскаго общества. Да и московскій разсадникъ просвѣщенія на первыхъ порахъ имѣлъ очень незавидную репутацію. Фонвизинъ говоритъ о «нерадѣннѣи и пьянствѣ учителей», а учителя латинскаго языка называетъ «примѣромъ злонравія, пьянства и всѣхъ подлыхъ пороковъ». Такой же рѣзкій отзывъ имѣемъ мы отъ гр. С. Р. Воронцова, который совѣтовалъ отцу въ 1759 году взять своихъ родственниковъ изъ московскаго университета, такъ какъ «они совсѣмъ ничего не знаютъ». «Нечему и дивиться, — прибавляетъ Воронцовъ, — когда учителя пьяницы, а ученики самые подлые поступки имѣютъ. Человѣкъ самаго лучшаго воспитанія тамъ испортиться можетъ, не токмо, чтобы научиться».

Приведенные отзывы относятся къ университетской гимназіи, но въ то время университетъ и гимназія, имѣвшіе общихъ преподавателей, разсматривались, какъ одно цѣлое, и дурная репутація гимназическихъ учителей относилась и на счетъ университета. И само правительство склонно было считать университетъ не вполне подходящимъ для дворянъ учебнымъ заведеніемъ. «Въ 1763 году, — говоритъ С. Соловьевъ, — вышелъ указъ: въ сенатъ и прочихъ мѣстахъ юнкеровъ не имѣть, а наличныхъ всѣхъ изъ дворянъ помѣстить въ сухопутный и морской корпуса, а не изъ дворянъ — въ московскій университетъ». Послѣ этого можно только удивляться, что среди московскихъ студентовъ XVIII-го вѣка на ряду съ семинаристами и разночинцами мы встрѣчаемъ не только сыновей дворянъ, но даже лицъ съ графскими и княжескими титулами.

О жизни немногочисленнаго московскаго студенчества XVIII-го вѣка сообщается очень немногое, какъ въ официальныхъ источникахъ, такъ и въ бѣдной литературѣ воспоминаній. Извѣстно, напримеръ, что въ матеріальномъ отношеніи бѣдные студенты были почти вполне обеспечены казенными стипендіями, частными уроками и переводами книгъ. Извѣстно также, что тогдашніе студенты учились гораздо больше, чѣмъ нынѣшніе, но находили также время для посѣщенія театра и кулачныхъ боевъ, а иногда производили и «буйства», за что наказывались отдачею въ солдаты. Относительно же настроенія учащейся молодежи существуютъ только болѣе или менѣе глухія указанія, что ей не чуждо было и религіозное и политическое вольномысліе, вызывавшее такія мѣры со стороны учебнаго начальства, какъ обязательное чтеніе Библии по воскреснымъ днямъ. Происходили также въ XVIII-мъ вѣкѣ и столкновенія студентовъ съ полиціей. Одна «исторія» подобнаго рода, по свидѣтельству проф. Тимковскаго¹, вызвала даже закрытіе существовавшего при

¹ «Москвитянинъ» 1851 г., №№ 9 — 10.



университетъ особаго учебнаго заведенія для сыновей донскихъ казакъ.

Особеннаго вниманія заслуживаетъ литературная дѣятельность московскихъ студентовъ XVIII вѣка. Рѣдкій журналъ позапрошлаго вѣка обходился безъ переводныхъ или оригинальныхъ статей и стихотвореній, принадлежавшихъ студентамъ. Нѣкоторые студенты даже сами выступали въ роли издателей. Въ 1760 году студентъ Богдановичъ, впоследствии авторъ «Душеньки», издавалъ «Невинное упражненіе», а студентъ Санковскій въ 1764 году издавалъ «Доброе намѣреніе». Многіе писатели XVIII вѣка начали свою литературную дѣятельность еще на студенческой и даже на гимназической скамьѣ. Особенно замѣтно было участіе московскихъ студентовъ въ просвѣтительной дѣятельности Новикова и Шварца. «Новиковъ, говоря словами Шевырева, дѣйствовалъ, окруженный лучшими студентами университета». Они принимали участіе и въ переводѣ той массы книгъ, которая была издана Новиковымъ, и сотрудничали почти во всѣхъ его журналахъ.

Начавъ свою просвѣтительную дѣятельность еще на учебной скамьѣ, московскіе студенты продолжали ее на самыхъ разнообразныхъ поприщахъ. Кромѣ «достойныхъ первосвященниковъ и пастырей церкви, высокихъ министровъ, правотворныхъ судей, мудрыхъ градоправителей, искусныхъ врачей, даже отличныхъ военнослужащихъ», о которыхъ упоминаетъ профессоръ Сохацкій въ своей юбилейной рѣчи (1805 года), изъ московскаго университета въ первый періодъ его существованія вышли десятки профессоровъ, писателей и журналистовъ, которые въ свое время стояли въ первыхъ рядахъ русской интеллигенціи. Достаточно напомнить, что съ московскимъ университетомъ XVIII вѣка въ благодарной памяти потомства соединены имена такихъ борцовъ за лучшее будущее, какъ Новиковъ, Фонвизинъ, Николай Тургеневъ, Пнинъ, Кайсаровъ, Яценковъ.

II

«Дней Александровыхъ прекрасное начало» благопріятно отразилось и на судьбѣ московскаго университета. Въ началѣ 1803 года кураторы были замѣнены однимъ попечителемъ, а на эту должность былъ назначенъ бывшій наставникъ молодого императора, М. Н. Муравьевъ, человекъ просвѣщенный и гуманный. Дѣятельность университета при новомъ попечителѣ замѣтно оживилась и выразилась, между прочимъ, въ устройствѣ цѣлаго ряда публичныхъ лекцій и въ учрежденіи ученыхъ обществъ. Кромѣ того, было приглашено десять иностранныхъ ученыхъ для занятія кафедръ въ московскомъ университетѣ и было послано нѣсколько русскихъ студентовъ за границу для приготовленія къ профессурѣ. На долю Муравьева выпало и введеніе новаго университетскаго устава, который былъ выработанъ при его дѣятельномъ участіи. По уставу 5 ноября 1804 года вмѣсто трехъ факультетовъ, явилось четыре «отдѣленія» (словесное, нравственно-политическое, физико-математическое и медицинское), а число кафедръ было увеличено до



28-ми. Мѣсто назначаемаго правительствомъ директора занялъ ректоръ, выбираемый профессорами изъ своей среды сначала на одинъ, а потомъ на три года. Кромѣ избранія ректора, совѣтъ университета выбиралъ профессоровъ, опредѣлялъ порядокъ учебной жизни и представлялъ высшую инстанцію университетскаго суда. Вообще, «уставъ 1804 года надѣлилъ университеты широкой автономіей и свободой преподаванія», которыя, впрочемъ, скоро подверглись существеннымъ ограниченіямъ¹.

Плодотворная дѣятельность Муравьева продолжалась очень недолго и была прекращена его смертью въ 1807 году. Среди его преемниковъ въ теченіе всего второго періода исторіи московскаго университета (1805 — 1835 годы) не было ни одного лица, которое принесло бы русскому просвѣщенію столько пользы и оставило бы такія свѣтлыя воспоминанія. По словамъ академика Сухомлинова, «имя Муравьева, осыпаемаго восторженными хвалами, славилось (даже) за границей, какъ имя поборника просвѣщенія». Первый преемникъ Муравьева, гр. А. К. Разумовскій, впоследствии министръ народнаго просвѣщенія, почти не интересовался дѣлами московскаго университета. Занявшій его мѣсто Голенищевъ-Кутузовъ оставилъ по себѣ дурную память, какъ человекъ гордый, вспыльчивый, требовательный и безтолковый. Это тотъ самый Кутузовъ, который попалъ въ лѣтописи русскаго мракобѣсія за свой нелѣпый доносъ на Карамзина по случаю пожалованія исторіографу ордена Владиміра 3 степени. Какъ извѣстно, въ этомъ доносѣ попечитель московскаго университета писалъ министру народнаго просвѣщенія, что сочиненія Карамзина «исполнены вольнодумческаго и якобинческаго яда», что въ нихъ явно проповѣдуется «безбожіе и безначаліе», и потому ихъ надобно сжечь, а автора «давно бы пора запереть», «яко врага Божія и врага всякаго блага и яко орудіе тьмы».

Въ попечительство этого обскуранта московскій университетъ пережилъ нашествіе французовъ, во время котораго пожаръ не пощадилъ зданій университета и истребилъ почти все его ученое имущество. При возстановленіи университета по изгнаніи французовъ Голенищевъ-Кутузовъ не проявилъ необходимой энергіи и съ 1817 года долженъ былъ уступить свою должность князю Оболенскому, который попечительствовалъ до половины 1825 года.

Поглощенный хозяйственными заботами, новый попечитель очень рѣдко появлялся въ университетѣ. «Попечителя князя Оболенскаго, — говоритъ Пироговъ, — видали мы только на актѣ, разъ въ годъ и то издали»². Не вторгаясь въ дѣятельность профессоровъ и въ жизнь студентовъ, князь Оболенскій въ то же время съумѣлъ, по свидетельству Третьякова³, «оградить московскій университетъ отъ всѣхъ злыхъ навѣтовъ и нареканій, такъ что никто изъ профессоровъ

¹ Рождественскій. «Историческій очеркъ дѣятельности министерства народнаго просвѣщенія», Спб. 1902.

² «Сочиненія Пирогова». Спб. 1900. Т. II, стр. 233.

³ «Московскій университетъ въ воспоминаніяхъ Третьякова» (1798–1830). См. «Русская Старина» 1893 г., №№ 7–10.



не получили в то время от высшего начальства никакого замечания насчет ученых трудов своих». А это немалая заслуга князя Оболенского, если мы вспомним, что современниками его были Магницкий и Руничь, подвергшие разгрому казанский и петербургский университеты.

Министр Шишковъ, обвинивший своего предшественника кн. Голицына «во всякомъ покровительствѣ и ободреніи нравственнаго зла» и зачисливший въ число «карбонарскихъ и революціонныхъ книгъ» даже катехизисъ Филарета, не долго терпѣлъ князя Оболенскаго и замѣнилъ его генераломъ Писаревымъ. Съ перваго же своего появленія въ университетъ Писаревъ напомнилъ студентамъ грибовдовскаго Скалозуба. «Это былъ фрунтовой генераль, — говоритъ Костенецкій¹, — и чуть ли не на его счетъ сказаны Грибовдовымъ извѣстные стихи:

«Я князь Григорію и вамъ
Фельдфебеля въ Вольтеры дамъ».

«Писаревъ посѣщалъ университетъ всегда въ полномъ мундирѣ со звѣздой и лентой, держалъ себя воинственно, говорилъ всегда строго, отрывочно и громко». За эти свойства своей рѣчи, по свидѣтельству Пирогова, онъ былъ прозванъ «фаготомъ». О легкомысліи, самодурствѣ и грубости этого «мундирнаго попечителя» существуетъ цѣлый рядъ разсказовъ, одинъ характернѣе другого. «Однажды, — разсказываетъ Костенецкій, — входитъ онъ въ нашу аудиторію. Мы всѣ встали; только былъ у насъ: студентъ Кояндерь, съ малолѣтства не владѣвшій обѣими ногами и ходившій всегда на костыляхъ, который поэтому и не могъ встать. Писаревъ, замѣтивъ такую дерзость со стороны студента, подбѣгаетъ къ Кояндеру и кричитъ: «ты, отчего не встаешь?» — «У меня нѣтъ ногъ», отвѣчаетъ ему Кояндерь. Тогда Писаревъ произнесъ фразу, обезсмертившую его навсегда въ памяти студентовъ: «ну хоть безъ ногъ, да стой!» которая была покрыта громкимъ нашимъ смѣхомъ».

Пироговъ видѣлъ Писарева на лекціяхъ медицинскаго факультета два раза, и каждое его появленіе сопровождалось скандаломъ. На лекціи у проф. Геймана онъ замѣтилъ студента, одѣтаго не по формѣ, и на всю аудиторію закричалъ: «это что значитъ? Такихъ надо удалять изъ университета». Студентъ спокойно отвѣтилъ: «да я не дорожу вашимъ университетомъ», поклонился опѣшившему генералу и ушелъ. Другой разъ, придя на лекцію проф. Мухина, Писаревъ спросилъ, почему онъ не читаетъ въ анатомическомъ театрѣ. Профессоръ отвѣтилъ, что тамъ Лодеръ передъ своими лекціями раскладываетъ кости и препараты. «А, если такъ, то я его самого разложу», отвѣчаетъ громко на всю аудиторію фаготъ». И такую безобразную выходку попечитель позволилъ по отношенію къ знаменитому въ свое время профессору и лейбъ-медику императора Александра I. Лодеръ, по словамъ Пирогова, довелъ до

¹ «Русскій Архивъ», 1887 г., №№ 1–6.



свѣдѣнія императора Николая объ этой выходкѣ, но попечитель былъ оставленъ на своемъ мѣстѣ. Дѣло въ томъ, что молодой императоръ, ознакомившись съ поэмой Полежаева «Сашка» и отдавъ поэта въ солдаты, подвергъ Московскій университетъ строжайшему надзору, чтобы искоренить въ немъ «развратъ» всякаго рода. Для этой цѣли Писаревъ на первыхъ порахъ считался вполне пригоднымъ лицомъ. Имѣлъ ли онъ какое-либо понятіе о наукахъ? — говоритъ Костенецкій. — Этого, безъ сомнѣнія, не было; да этого отъ него и не требовалось. Нужно было только, чтобы онъ держалъ студентовъ въ субординаціи, а профессорамъ не позволялъ либеральничать, какъ говорилось тогда, вольнодумничать, и въ этомъ отношеніи онъ исполнялъ свою обязанность какъ нельзя лучше... Писаревъ только и обращалъ вниманіе, что на стрижку волосъ у студентовъ да на форму мундира».

Когда Шишкова смѣнилъ князь Ливень, вскорѣ послѣ того и «московскія музы, по выраженію Третьякова, избавились отъ военнаго надзора». Преемникомъ Писарева (съ 1830 до 1835 г.) былъ князь С. М. Голицынъ. По свидѣтельству Вистенгофа¹, новый попечитель былъ «человѣкъ высокообразованный, гуманный, добраго сердца, характера мягкаго... Имя его всѣми студентами произносилось съ благоговѣніемъ», такъ какъ онъ дѣлалъ для нихъ много добра. Но эта восторженная оцѣнка не находитъ подтвержденія въ воспоминаніяхъ другихъ студентовъ. «Попечителемъ, — говоритъ Гончаровъ въ своихъ воспоминаніяхъ о московскомъ университетѣ, — былъ тогда извѣстный въ Москвѣ богатый вельможа князь С. М. Голицынъ. Только это мы и знали о немъ, да знали еще большой барскій домъ на Пречистенкѣ и прекрасную дачу, Кузьминки, въ семи верстахъ отъ Москвы, куда нерѣдко отправлялись гулять взадъ и впередъ. Знали также всѣ ходившіе въ обществѣ анекдоты о его широкой благотворительности, о его роскошныхъ праздникахъ, даваемыхъ во время посѣщенія Москвы царскою фамиліею, — и больше ничего». «Онъ даже будто вовсе и не любилъ университета, — говоритъ Буслаевъ², — и при насъ въ теченіе двухъ лѣтъ ни разу не былъ въ аудиторіяхъ на лекціи; только однажды посѣтилъ онъ нашу казенную столовую во время обѣда, прошелся взадъ и впередъ между столами и, закинувъ голову, смотрѣлъ по верхамъ въ потолокъ, на студентовъ же вовсе ни на кого и не взглянулъ». По словамъ Герцена³, Голицынъ былъ человѣкъ щедрый и добродушный, но недалекій; «онъ долго не могъ привыкнуть къ тому безпорядку, что когда профессоръ боленъ, то и лекцій нѣтъ; онъ думалъ, что слѣдующій по очереди долженъ былъ его замѣнять». Съ Герценомъ сошелся въ оцѣнкѣ князя Голицына и Погодинъ, который о новомъ попечителѣ записалъ въ своемъ дневникѣ:

¹ «Историческій Вѣстникъ» 1892 г., № 2.

² «Мои воспоминанія». М. 1897.

³ «Былое и думы», ч. I, гл. VI и VII.



«невѣжда и думаетъ исправлять просвѣщеніе». Но главный недостатокъ попечительства князя Голицына состоялъ въ томъ, что, занятый другими обязанностями, онъ передалъ ближайшее наблюдение за университетомъ своимъ помощникамъ, сначала графу А. Н. Панину, а потомъ Голохвастову, которые явились достойными преемниками Писарева. По словамъ Вистенгофа¹³, оба они были «необузданные деспоты» и «видѣли въ каждомъ студентѣ какъ бы своего личного врага, считая насъ всѣхъ опасною толпою, какъ для нихъ самихъ, такъ и для цѣлаго общества. Они все добивались что-то сломить, искоренить, дать всѣмъ внушительную острастку».

«Графъ Панинъ, — говоритъ далѣе Вистенгофъ, — никогда не говорилъ со студентами, какъ съ людьми болѣе или менѣе образованными, что-нибудь понимающими. Онъ смотрѣлъ на нихъ, какъ на какихъ-то мальчишекъ, которыхъ надобно держать непременно въ ежовыхъ рукавицахъ, повелительно кричалъ густымъ басомъ, командовалъ, грозилъ, стращаль». Особенному гоненію подвергались со стороны графа Панина бороды, усы и длинные волосы. При немъ началось бритье и стрижка бородатыхъ, усатыхъ и волосатыхъ студентовъ на солдатскій манеръ и на казенный счетъ, причемъ самъ гр. Панинъ командовалъ цирюльникамъ: «стриги короче! брей чище! не жалѣй мыла!» Строго слѣдилъ также гр. Панинъ, родной братъ извѣстнаго министра юстиціи и за исправностью студенческой формы. «Ни одна разстегнутая или оборванная пуговица, — говоритъ гр. М. В. Толстой¹⁴, — не ускользала отъ его пронизательнаго взгляда».

Впрочемъ, графъ Панинъ слѣдилъ не за одними волосами и пуговицами студентовъ. Въ 1831 году онъ задался цѣлью «почистить университетъ» и представилъ записку о профессорахъ съ оцѣнкой ихъ знаній, способностей и даже характера. Въ этой запискѣ¹⁵, предназначенной для министра народнаго просвѣщенія князя Ливена, встрѣчаются такія отмѣтки: «ректоръ (Двигубскій) безхарактеренъ и лукавъ»; «Рейссъ — ученый: тяжелодумъ, одаренный искусствомъ затруднять всякое возложенное на него дѣло»; «Павловъ — уменъ и ученъ, но не у мѣста»; «Перевощиковъ и ученъ и свѣдущъ въ астрономіи и довольно рѣчистъ, но подчиненный строптивый и начальникъ крутой отъ непреклонности нрава»; «Рясовской смыслить акушерство, но малодушенъ (!) въ заразительныхъ болѣзняхъ»; «Каченовскій... ученъ, но усыпителенъ»; «Гавриловъ годится въ архивъ старыхъ дѣлъ»; Василевскій — «голова безразсудная» и т. д. въ такомъ же родѣ. Есть въ «Запискѣ» и хорошіе отзывы, но главное, что въ ней поражаетъ, это крайне безцеремонное отношеніе къ профессорамъ, вся дѣятельность которыхъ, иногда очень почтенная, оцѣнивается тремя-четырьмя пренебрежительными строчками. И такая оцѣнка дѣлается не попечителемъ, а его чинов-

¹ «Историч. Вѣстникъ» 1892 г., № 2.

² «Русскій Архивъ» 1881 г., № 3.

³ «Русская Старина» 1880 г., т. XXVIII.



никомъ особыхъ порученій, который кое-что смыслилъ только въ военныхъ наукахъ. Такъ можно думать потому, что, найдя методу преподаванія этихъ наукъ у проф. Мягкова устарѣвшею, онъ сообщилъ ему новыя сочиненія по его специальности.

Изъ профессоровъ-юристовъ студенческія воспоминанія особенно часто говорятъ о Сандуновѣ, занимавшемъ кафедру русскаго гражданскаго и уголовнаго судопроизводства болѣе двадцати лѣтъ (1811–1832). Сдѣлавшись профессоромъ изъ оберъ-секретарей сената, не обладавшій научной подготовкой и даже не признававшій никакой науки права, Сандуновъ велъ дѣло преподаванія приблизительно такимъ же образомъ, какъ его предшественникъ и учитель Горюшкинъ. «Лекція Сандунова, — говоритъ проф. Морошкинъ¹, — обыкновенно начиналась чтеніемъ журнала прошедшаго засѣданія аудиторіи дежурнымъ протоколистомъ изъ студентовъ съ прописаніемъ, кто явился поздно въ засѣданіе и кого вовсе не было. Журналъ подписывался профессоромъ, какъ предсѣдателемъ присутствія, скрѣплялся секретаремъ класса и дежурнымъ протоколистомъ. Засимъ выдвигался на средину аудиторіи нагой, выходилъ къ нему дежурный студентъ съ вновь вышедшими «Сенатскими Вѣдомостями» и читалъ заранѣе профессоромъ отмѣченныя узаконенія. Сандуновъ спрашивалъ студента по выбору, въ чемъ заключается сущность и разумъ закона, къ какому разряду законовъ относится, и какъ онъ подходитъ къ прежнимъ законамъ, по тому же предмету изданнымъ. По разрѣшеніи сихъ вопросовъ дежурный студентъ читалъ слѣдующее узаконеніе».

По прочтеніи «Сенатскихъ Вѣдомостей» происходилъ примѣрный разборъ гражданскихъ и уголовныхъ дѣлъ. Для этой цѣли изъ студентовъ были составляемы присутственныя мѣста въ полномъ составѣ, съ канцеляріями и архивами. При этомъ должности, начиная съ губернаторовъ и кончая писцами, распределялись сообразно знаніямъ и способностямъ студентовъ. «Трудно себѣ представить теперь, — говоритъ Свербѣевъ, — съ какой охотой, съ какимъ возбужденіемъ, скажу, съ какою юною запальчивостью происходили наши представленія, въ которыхъ главныя роли разыгрывались бойкими студентами и страстными повѣренными тяжущихся сторонъ. Подумаешь, что каждый боялся проиграть въ своемъ процессѣ цѣлое состояніе». Самъ Сандуновъ «раздувалъ пламя состязаній», но умѣлъ поддерживать самую строгую дисциплину, потому что студенты его боялись и «едва переводили духъ», когда профессоръ былъ сердитъ. Въ большинствѣ случаевъ «распоряженія профессора, — говоритъ Морошкинъ, — были столь наглядны и серьезны, что, при первомъ взглядѣ, аудиторія казалась истиннымъ судилищемъ геліастовъ». Но бывало, по свидѣтельству Костенецкаго, и такъ, что «истецъ, напимърь, все тянетъ о, о, о, отвѣтчикъ

¹ Биограф. словарь Московскаго университета.



прыскаетъ и давится, судья картавить и гримасничаетъ, секретарь сюсюкаетъ», а студенты смотрять на все это, какъ на шутку и забаву, и «надрывають животики».

«Очевидно, — говорить Морошкинъ, — что метода Сандунова не подвигала науку впередъ, а приготавлиала для службы судей, секретарей и стряпчихъ. Онъ понималъ науку, какъ законоискусство». Науку же права онъ отвергалъ и, по словамъ Свербьева, «при всякомъ удобномъ случаѣ выражалъ къ ней свое презрѣніе». Римскаго права, по свидѣтельству Погодина, онъ терпѣть не могъ и проф. Цвѣтаева, преподававшего это право, называлъ «римскою попадьею». Само собою разумѣется, что студенты практическаго смысла и направленія были вполнѣ довольны своеобразнымъ преподаваніемъ Сандунова и находили, что у него «все было заманчиво, живо, весело». Свербьевъ съ благодарностью говорить о Сандуновѣ, что, благодаря его урокамъ, онъ научился подкрѣплять свои помѣщичьи права законами, могъ составлять дѣловыя бумаги и обходиться, кромѣ чрезвычайныхъ случаевъ, безъ помощи приказныхъ и стряпчихъ. Что касается студентовъ, «чающихъ науки отъ ка?едры законовѣднія», то они, по выраженію Морошкина, стояли отъ Сандунова «далече». Да и самъ профессоръ не любилъ такихъ студентовъ. Прежде всего онъ требовалъ, чтобы они отреклись отъ того, что онъ называлъ «фантазмагоріей и всякимъ пустолубіемъ». Такъ называемыхъ «высшихъ взглядовъ» онъ не терпѣлъ, презрительно называя ихъ «широковѣщательными теоріями» и метафизикой. Равно не терпѣлъ Сандуновъ и краснорѣчія. Его теорія судебного краснорѣчія, по словамъ Морошкина, заключалась въ словахъ: «надобно говорить дѣло и больше ничего». Замѣтивъ у какого-нибудь студента склонность къ краснорѣчію и высшимъ взглядамъ, Сандуновъ посылалъ его въ словесный факультетъ, говоря: «Ты здѣсь не годишься, шель бы ты, батенька, въ стихотворцы».

Сандуновъ, по словамъ Свербьева, «былъ челоувѣкъ необыкновенной остроты ума, рѣзкій, энергичный, не подчиняющійся никакимъ приличіямъ (впрочемъ, до извѣстной черты осторожнаго благоразумія), безцеремонный и иногда бранчивый со студентами». Ни богатство, ни знатность не спасали студента отъ самыхъ язвительныхъ насмѣшекъ профессора. Съ его остраго языка то и дѣло слетали фразы вродѣ такихъ: «гдѣ хвостъ — начало, тамъ голова — мочало», «обычай у тебя бычій, а умъ телячій», «на антресоляхъ-то у тебя, батенька, видно, маловато», «бороду брѣешь, а читать не умѣешь», «и борода выросла, а ума не вынесла», «шалопай ты, даромъ что дворянинъ» и т. п. Несмотря на подобныя выходки, студенты уважали и любили Сандунова, а одобреніе его цѣнили такъ высоко, что «о каждомъ ласковомъ словѣ его, по свидѣтельству Ляликова, цѣлыя недѣли толковали».

Студенты, «чающіе науки», не могли получить ея отъ Сандунова; недостаточно удовлетворялъ ихъ въ этомъ отношеніи и Левъ Цвѣтаевъ, преподававшій «теорію законовъ» и римское право въ



течение всего второго периода (1805–1835). По свидетельству его ученика и преемника, Никиты Крылова, Цвѣтаевъ обладалъ «самымъ вѣрнымъ юридическимъ тактомъ», но лекціи его не для всѣхъ были интересны и доступны. «Старѣйшіе и прилежнѣйшіе изъ студентовъ-юристовъ — говоритъ Свербѣевъ — съ уваженіемъ отзывались о лекціяхъ строгаго и дѣльнаго... Цвѣтаева, но для меня онъ оставался всегда недоступнымъ, и я рѣдко надобдалъ ему и себѣ посѣщеніемъ этихъ лекцій». По словамъ Сафоновича, Цвѣтаевъ былъ «сухой и непріятный профессоръ, говорившій вяло и наводившій на слушателей сонъ». Костенецкій также отзывался о лекціяхъ Цвѣтаева неодобрительно. Но будучи недоволенъ лекціями Цвѣтаева, студенты уважали, въ немъ серьезнаго ученаго. «Мы уважали эту спокойную и всегда важную личность, — говоритъ Костенецкій, — и никогда никакой шумъ не прерывалъ его монотонныхъ и усыпительныхъ лекцій». А въ двадцатыхъ годахъ студенты, по свидетельству Ляликова, даже любили Цвѣтаева и помогали ему снимать и надѣвать верхнее платье.

(Продолженіе слѣдуетъ).